

# Абрамов Федор Александрович

## Последняя охота

Ну, слава богу, он дома... Матвей Лысцев кое-как высвободил ноги из оледенелых, поскрипывающих на морозе ремней, поставил к стене лыжи и медленно, с передышкой, опираясь руками на перила, поднялся на крыльцо. Ворота из сеней ему открыла Марья — под стать мужу, такая же крупная и широкая в кости.

— Пришел, горе мое. Зачем же вот было ходить? Матвей молча прошел в избу. Идол — черный, с желтыми кустистыми надглазницами пес, развалившийся посреди избы, поднял было голову и снова опустил. Марья приняла от мужа ружье, обила голиком низкие валенки с суконными голяшками, натянутыми до пахов, помогла снять промерзший ватник. Ока не спрашивала, как прошел день. Ей достаточно было взглянуть на его лицо — темное, угрюмое, с редкими, словно картечины, отсвечивающими оспинами. — Давно он пришел? — кивнул Матвей на пса. Марья посмотрела на стенные ходики. Да уж боле часу — я баню закрывала. Что ж, пес не виноват. Какая же собака будет мерзнуть весь день в лесу, ежели хозяин, как улита, ползет по лыжне! Матвей тяжело опустился на прилавок возле печи, вытянул длинные и прямые ноги, мохнатые от инея. Ноги ныли и гудели, как провода на погоду. Что делать с этими ногами? Давно ли он еще целыми днями без усталости гонялся за зверем, а теперь чуть пройдет на лыжах — и хоть посреди леса ложись: бастуют, окаянные! А вечером, когда начнет разуваться, страшно взглянуть: распухли, жилы нарвало, как у беременной бабы. И вот уже два года он не выходит на свою охотничью тропу. Пустуют где-то по ручьям и лесам занесенные снегом избушки, срубленные его руками, ржавеют капканы и волчьи петли, а он в ожидании, когда окрепнут ноги, бродит с ружьишкой по мелколесью да по старым вырубкам. Бесполезно, по привычке бродит, можно сказать, тешит себя, как малый ребенок, потому что

какой же зверь вокруг деревни? Осенью прошлого года райзаготконтора премировала его мотоциклом.

«Давай-ко механизируйся, — сказал завконторой Сысоев.

— А то срам — скоро в космос полетим, а в нашем деле все ни тпру ни ну». Матвей без радости принял нарядную, сверкающую черным лаком машину. За что же его награждать? За то, что за год семь куничек да две лиски добыл? Правда, было время — гремел Лысцев, на всю область гремел. По четыре-пять медведей в сезон убивал. А волки?

«Матвей, — накажут, бывало, люди, — на Пюлу волк вышел». А Пюла, где она, эта Пюла? На краю света. На лошади скакать — и то пять дней надо. И Матвей на лыжи и напрямик — через суземы, через болото. Передохнет, обсушится у костра и снова мнет снег, пробирается сквозь чащобу ельника, ныряет в котловины ручьев и речушек... Нет, никакая машина не заменит охотнику ноги. Да и легче, пожалуй, на Луну слетать, чем придумать такой вездеход, чтобы по нашим суземам колесить...

— Исть будешь или в баню сперва? — спросила Марья.

— Погоди, надо еще разуться. Ноги в тепле немного успокоились, — на полу натаяли лужи. Мокрые суконные голяшки, перехваченные ремешками под коленкой, искрились мелкими льдинками. Матвей положил руки — большие, обветренные руки рабочего человека — на колени и начал легонько растирать их, словно задабривая. Марья покачала головой:

— И зачем же вот каждый день бродить? Ведь уж раз ног нету, какой из тебя охотник!

— Опять за свое? — Матвей исподлобья взглянул на жену.

— Да как? Самим исть-пить надо, и Саньке который месяц не посылаем. Стипендия-то у девки невелика. Матвей поморщился. Да, Саньке, старшей дочери, своей любимке (она учится в техникуме в Архангельске), он за три месяца не послал ни копейки. Но где у него деньги? Выпил ли он хоть раз за этот месяц?

— Матюша, — вдруг ласково заговорила Марья и дотронулась рукой до его круглой, коротко остриженной головы, — а может, мотоцикл-то продать? Вот бы и заткнули дыры. Спрашивал у меня опять кладовщик. Хорошие, говорит, деньги дам.

— Скажи ему, что премиями Матвей Лысцев не торгует.

— Матвей Лысцев, Матвей Лысцев!

— неожиданно взорвалась Марья.

— Форсу-то сколько! Ну, пусть Санюшка с голоду мрет. Отец премиями не торгует, «сторожем на скотный двор не хочу»...

— Да ты что, рехнулась? В сорок-то лет хвосты коровьи сторожить! — А ты на что надеешься?

— У Марьи угрожающе выпятился живот, она ходила на сносках. — С твоей-то грамотой не больно разойдешься. В контору не сядешь... Матвей судорожно, до хруста сжал пальцы.

— Венька где? — спросил он немного погодя усталым и примирительным голосом.

— Я ему про Фому, а он про Ерему! Марья, тяжело шлепая валяными опорками, заковыляла к занавеске. Поравнявшись с Идолем, она на ходу ткнула его ногой в бок. Пес зарычал, оскалил морду.

— Потише ты — развоевалась. За занавеской грохнул ухват, со звоном покатила кастрюля. Матвей вздрагивающей рукой нашарил на припечном бруске банку с махоркой, свернул сигарку. Да, надо на что-то решаться. Хватит с него этой музыки. Каждый день одно и то же. Конечно, она права. Хуже, чем они живут сейчас, некуда. Но боже ты мой, у него вся жизнь вразлом, а она хоть бы посочувствовала! На крыльце гулко затопали ноги. Завизжали ворота — давно надо смазать медвежьим жиром, — ив избу ввалился Венька, весь в снегу, как березовый.

— Папа, мы волка видели!

— Волка?

— Матвей вяло усмехнулся: Венька, истый сын охотника, любил заправлять арапа.

— Может, хоть собаку?

— Ну вот еще, что я, не знаю! Хвостикую тянет... Такой дедко — как жеребенок, качается... Идол насторожил уши, шумно потянул воздух. Матвей в бессильной ярости скрипнул зубами. Вот времена настали! Зверь под боком ходит, а они ни с места.

— Мы это катаемся с ребятами с горы, — продолжал рассказывать, размахивая красными руками, Венька, — а он как выскочит из кустов да по дороге на реку... Ружья у меня не было, а то бы я... — Будет вам!

— оборвала сына Марья.

— Вечно они со своим зверьем! Ешьте, да в баню пора. Матвей встал — все-таки отпустили немного ноги, шагнул к столу и вдруг, прихрамывая, кинулся к ружью.

— Венька, живо заправляй мотоцикл!

— Матвей. Матвей, не сходи с ума!

— закричала Марья.

— Куда же ты на вечер глядя? И не ел весь день... Матвей круто повернул голову к жене — и этого было довольно: Марья поспешила на помощь мужу.

Матвею ни разу не доводилось ездить на мотоцикле зимой, но дело пошло на лад. Он вихрем пронесся по деревенской улице, затем вылетел на открытый луг, по которому наискось пролегал зимник — весь в вешках. Скосив слезящиеся, в заиндевелых ресницах глаза — ветер резал лицо, — он зорко всматривался в желтую, хорошо накатанную дорогу. Следов не было. Не было их и на реке. Неужели Венька подшутил? За рекой зимник двоился. Одна росстань — берегом — вела в райцентр, другая — направо, вдоль ручья с низкорослым кустарником в начесах сена — в верхнюю часть района. Матвей свернул направо. Зверю — не на заседание. Зачем же он попрется в райцентр? Росстань — несчастные женки, которые возят по ней сено! —

приворачивала к каждому кусту. Мотоцикл качало, подбрасывало, заносило в ухабах — и он взмок, пока выбрался на большак. Но и тут никаких следов. Дорога заледенела — хоть целая стая пройди по ней, не заметишь. Он поглядел в одну сторону, поглядел в другую. Хмурые сосны, навьюченные снегом. Телеграфные столбы с провисшими мохнатыми проводами. И дорога, пустынная дорога, тускло поблескивающая санной колеей. Нет, надо, видно, поворачивать назад. По крайней мере в бане успеет вымыться, а после бани всегда ногам лучше. Ну а вдруг, пока он тут рассусоливает, волк преспокойно чешет себе большаком? Куда же еще ему податься? Зверь, как и человек, зимой держится дороги. Приглушенный мотор снова взревел. И снова терзающая ноги тряска. Снова полощет его ледяным ветром. Он проехал пять, проехал семь километров. Волк как сквозь землю провалился. Когда за поворотом показалась Матушкина ручьевина, густо заросшая березняком, Матвей сказал себе: хватит. Напротив матерой лиственницы (прошлой осенью, еще по чернотропу, он свалил тут глухаря) он остановился, заглушил мотор. У него стучали зубы, заочечневшие руки, когда он снял суконные рукавицы и попытался содрать ледяную коросту с небритых щек, плохо слушались. Вечерело. В морозной прозелени неба уже проклюнулись звезды. Он потоптался, помахал руками, чтобы согреться, затем, на ходу доставая охотничий нож, болтавшийся на ремне сбоку, направился к спуску. Продавщица сельпо давно просила его сделать пару метел. Все таки деньги, — хоть на табак не придется кланчить у женки. Он подошел к спуску и остолбенел. По ту сторону ручья в гору подымался волк. Ружье, где ружье? Какой дьявол надоумил снять его! Ну и конечно, пока он бежал за ружьем к мотоциклу, зверь ушел. Матвей едва не заревел от горя. Шестьсот рублей упустил! Спуск в ручьевину заледенел еще больше, чем дорога. Мотоцикл накатывался на него, как воз на лошадь. Матвей упирался больными ногами, падал. Потом с остервенением пихал машину в гору. Наконец он вылез из чертовой ручьевины. Мохнатые сосны, ели. Звезды сыплются колючей крупой. Еще газу, еще! Мотоцикл с бешеным воем и

треском вынес его на поляну — и тут он увидел волка. Матвей резко затормозил. В морозной тишине громом прогрехотал выстрел. Волк исчез за поворотом дороги. Через минуту он снова выстрелил и снова промазал. Что за чертовщина? Руки у него трясутся или мушка сливается в сумерках с дулом? Матвей включил фару. Ослепить, сбить зверя мотоциклом! Давят же шоферы лисиц и зайцев колесами, а почему не попытаться счастья ему? Зимняя дорога запылилась заревом. Косматый лес, как стадо мамонтов, с оглушительным ревом полетел ему навстречу... Это был большой, на редкость большой зверина, — прав Венька! — пожалуй, ни один из убитых им волков не шел в сравнение с этим. В желтой слепящей полосе долго, наверно с минуту, качался обвислый зад с прямым, как полено, сверкающим изморозью хвостом, потом свет скользнул по вздыбленному загривку, по морде, окутанной паром... Матвей сжался пружиной. Сейчас, сейчас он собьет серого дьявола... Внезапно дорога выгнулась дугой. Лучи фары веером рассыпались по верхушкам пушистого березняка. Постой, постой, да ведь тут где-то взвоз — крутой спуск к реке... Матвей изо всех сил нажал на тормоза, но было уже поздно. Машина подпрыгнула и неудержимо полетела вниз... Мотоцикл еще чихал, бешено крутились колеса, взбивая снежную пыль, а он лежал в придорожном сугробе, с головой зарывшись в снег, и на все лады клял себя. Так все шло хорошо. Волк был уже в руках — и надо же было, олуху, забыть про взвоз! Сотни, тысячи раз он ходил и ездил по этой дороге, а тут забыл... В затылке болело — наверное, стукнуло ружьем, когда падал. Выбравшись из сугроба, Матвей стряхнул с себя снег, пнул с горя заглохший мотоцикл и безнадежно, с тоской посмотрел на зимник, уходящий вверх по реке. На километр, на два просматривалась прямая, светлая, как слюда, дорога — и хоть бы одна тень пятнила ее. Где же волк? Не мог же он за каких-то пять минут проскочить два километра? Матвей повернул голову направо: там от спуска на реку есть росстань — по ней иногда ездят за сеном на тот берег. Но все же то, что он увидел, походило на чудо. По снежной равнине, залитой лунным светом, шел волк, вернее не шел, а плыл, как

темный челнок, толчками двигаясь к тому берегу. И он был всего в каких-нибудь ста метрах от него! Матвей скинул из-за спины ружье, выстрелил. Туча снежной пыли взметнулась на реке... Он выстрелил еще раз и побежал по дороге, к росстани. Ох, ноги, ноги! Вот когда окончательно сдали. Он брел по волчьим следам, глубоко, до пахов проваливаясь в рыхлый снег, — давно не ездили по росстани, — и ему казалось, что к ногам его привязаны колодки. Ничего, ничего, утешал он себя, самое трудное позади, а на дорогу он как-нибудь вытащит зверя... И вдруг — он уже чувял запах псины — черная туша на снегу зашевелилась. Ах, сволочь! Хитрить, притворяться? Плохо тебе попало? Одеревеневший палец (наверно, отморозил) долго не мог зацепить спусковой крючок. Осечка. Он снова взвел курок — и снова щелчок. Вот уж не повезет так не повезет. Матвей отчаянно дергал затвор, тер суконной рукавицей — все напрасно. Пятнадцать-двадцать шагов отделяло его от волка! На том месте, где только что отлеживался раненый зверь, снег был в черных пятнах. Это кровь. И, словно собака, подхлестнутая запахом свежей крови, Матвей двинулся вперед. Он спотыкался, падал, зарывался лицом в снег, — но как упустить такую добычу! Зверь тяжело ранен — это ясно, и стоит дотянуться прикладом до его башки, как все будет кончено. На подъеме в берег — росстань тут начисто замело — он выронил ружье. Черт с ним и с ружьем — все равно не стреляет. Ему хватит и дубины, а возле стога всегда найдется жердь. На худой конец у него еще есть нож, большой охотничий нож. Главное сейчас — выбраться из этой проклятой трясины. Он месил, загребал руками снег, цеплялся за кусты, подтягивался и долго, как лошадь, бился в рыхлом сумете. Наконец из-за пригорка показалась зеленоватая, высветленная луной шапка стога. Матвей, опираясь на руки, поднял голову, поискал глазами волка. Так, все идет так, как он задумал. Волк подползал к стогу сена. Вот уж он в проломе низкой мохнатой изгороди, вот уж черная шкура зверя слилась с темным приземистым стогом. А-а, сволочь, попался! Тут тебе и капут. Дальше ты не уйдешь. Кончилась росстань... Темное крыло тени, сбрасываемое стогом, почти касалось кустов,

в которых лежал Матвей. Наступала решающая минута. На мгновение в мыслях его всплыла теплая изба, Марья и Венька, измученные ожиданием... Ничего, потерпите еще немного. Дайте отцу собраться с силами. Матвей жадно, по-собачьи хватил губами снег, встал. Мысленно, шаря глазами по изгороди, он уже прикидывал, как выхватит сейчас жердь, а затем со всей яростью обрушит ее на волка. А пока что рука его судорожно сжимала рукоятку ножа — на тот случай, если зверь бросится на него из засады. И вдруг — или это померещилось ему — на светлой полосе за стогом он увидел темное пятно. Пятно ползло, двигалось к лесу... Одним рывком Матвей достиг изгороди. Волка у стога не было. Все ясно: обхитрила подлая тварь, отлежалась и ушла... Навалившись грудью на изгородь — ноги, как подкошенные, тянули вниз, — он обвел глазами голую бережину, холодную, безжизненную, отливающую зеленым блеском, потом посмотрел на реку. Нечего и думать о возвращении обратно — ему не дойти до большой дороги, не выбраться из этих снегов. Холодная дрожь прошибла его. Ему вдруг вспомнилось то, что случилось прошлой зимой в Пихтеме. Борька Шумилов, молодой мужик, силища — двухпудовкой крестился и справа и слева, — вот так же, как он, вскочил под вечер на лыжи и налегке побегал на деревенский луг — там бабы видели лису-огневку. Разыгралась метель. Дома ждут Борьку весь вечер, ждут всю ночь. Назавтра вышли искать всей деревней. Ни одного следа на лугу — все загладило снегом. И только весной, когда начало таять, ребяташки откопали беднягу под пихтемской горой. Замерз у самой деревни. Матвей стиснул зубы, навалился на жердь — надо наломать дров, скорее развести огонь, пока еще не поздно. Жердь выгнулась, но не треснула. Тогда он принялся за колья. Левая рука, как мертвая, скользнула по колу. Он стащил зубами заледеневшую рукавицу и начал оттирать кисть сухим снегом. Пальцы не двигались. Правая рука тоже немела. Задубелый ватник звенел, как железный. Матвей взглядом обреченного человека посмотрел вокруг. Блестит, каленой искрой переливается снег. В небе луна — ушастая, в дымном угаре. На холод... Неужели здесь, в этом проклятом снегу,



подышать ему? На войне не подох, а тут, в трех шагах от жилья... Нет, черта с два! Он нащупал на груди коробок со спичками и, вдруг резко оттолкнувшись от изгороди, заковылял, качаясь, к стогу.

Столб пламени, среди ночи вырвавшийся у взвоза, заметили в ближайшей деревне. На пожар кинулись на лошадях — всем было ясно, что горит сено. Разъяренные колхозники бросились было на человека, лежавшего на заледенелом снегу у теплого, еще дымившегося пепелища, но человек не пошевелился. Он был без сознания! И тогда всем стало понятно, что тут произошло. Матвея взвалили в сани, прикрыли всем, что привелось под рукой, и отвезли в районную больницу. Прошло больше полугода. В колхозах уже отсеялись, посадили картошку. На северную землю спустилось лето — зеленое, теплое, с прохладными белыми ночами. Матвей, никогда раньше не любивший лета — мертвая пора для охотника, — на этот раз радовался, как ребенок. Вольный душистый воздух, ласковая синева неба, молодая трава на лугах, уже расшитая пестрыми узорами цветов, река с играющей серебряной мелочью — все это на время отодвинуло тягостные мысли о будущем. Но когда стали подъезжать к своей деревне — был праздник по случаю окончания сева, и улица была забита нарядным, гуляющим народом, — лицо его помрачнело. Марья, догадавшись, что делается на душе у мужа, свернула на задворки. К дому подъехали тихо, крадучись, как воры. В заулке у крыльца, на белом разогретом песке — давно привезли песок от реки, еще тогда, когда была ползунком Санька, — лежал Идол. Потревоженный скрипом телеги, пес нехотя встал, сонно зевнул, потягиваясь, и поплелся к хлеву — грязный, неряшливый, со всклокоченной шерстью на боках.

— Идол, Идол, — с укором позвала Марья.

— Что ты, дурак, ведь хозяин домой вернулся. Идол даже ухом не повел. Пропала собака, подумал Матвей. Ну и пусть. Отдавать пса в чужие руки — мясо живое от себя отдирать, а с него, Матвея, хватит. За то время, что он лежал в больнице, его посвежевали немало. Сначала отхватили

пальцы на правой ноге, потом оттяпали левую ступню, а потом принялись за стрижку почерневших пальцев на руках. И осталось у него два пальца — большой да указательный на правой руке. Ровно столько, чтобы самому подносить ложку ко рту да застегивать штаны... Марья хотела было взять мужа на руки — она раздобрела после родов, налилась румяным здоровьем, да и тяжел ли он был теперь, кругом укороченный, наполовину высохший?

— но Матвей воспротивился. Нет, в свою избу он войдет сам. Глухо хрустнула, зарывшись в песок, новехонькая, вытесанная из березы, окольцованная по низу деревяшка. Матвей, поддерживаемый женой, поднялся на вымытое, застланное половиком крыльцо, передохнул, глядя на солнечную реку в зеленых берегах. В избе было тоже намыто. Сладко пахло молодой березой, раскиданной по углам, по матице. На глазах у Матвея показались слезы. Марья, обняв его, помогла ему сесть на прилавок у печи — так он всегда делал, когда возвращался с охоты. И все тут было по-прежнему: на печном бруске раскрытая банка с желтой махоркой, стопка нарезанной газеты, спички. Хорошая у него баба. Другая бы на ее месте слезами изошла: и как теперь жить будем, и что мы за разнесчастные с тобой...

А эта хоть бы вид подала. И все эти долгие месяцы, пока он лежал в больнице, через день, через два приходила к нему. А ведь — легко сказать — семь километров туда да семь обратно. А зимой, в стужу, после работы... С другой половины — из летней избы

— Марья вынесла ребенка, заспанного, с мокрыми от жары волосенками.

— А это Олена Матвеевна. Отца пришла встречать. Не видали таких? У Матвея перехватило в горле. Комкая сигарку, он протянул обрубки рук к дочери. Девочка заплакала.

— Ну еще, — рассердилась Марья.

— Как отца-то встречаешь? Она села рядом с ним, горячая, сильная, с обветренным лицом и белой напотевшей шеей. На одной руке ребенок, жадно прильнувший к полной груди, а другой рукой она обнимала мужа.

Обнимала и уговаривала: — Ничего, Матюша, проживем. Санька кончает учење, и Венька исть не просит (Венька за неделю до выхода отца из больницы уехал в ремесленное), и у тебя пензия. Под вечер с бутылкой водки заскочил Ванька-шофер. И тоже утешения. А по поводу двух Матвеевых пальцев, цепко закрючивших граненый стакан, сострил:

— Ну, дядя Мотя, считай, что одну профессию ты уже освоил. С такими крюками, как твои, на нашем фронте, — он кивнул на бутылку, — воевать можно. Нет, черта лысого! Воевать — так уж воевать по-другому. Перво-наперво он принялся за дровяной сарай. Гладкие сосновые поленья на растопку — это не трудно. Крюки, оказывается, могут держать не только стакан, а и нож. Затем, поразмыслив, он прибил к топорищу темляки из парусины и попробовал колоть дрова. Неважно, с мозолями, но и это получалось. А что, если и тесать попробовать? Два березовых полоза с позапрошлой осени валялись у него в сарае. Ведь если дело пойдет на лад, его завалят работой. Топор, сблентив по затвердевшему дереву, распорол опорок. Марья, увидав кровь, перепугалась до смерти и, сколько он ни доказывал, что это простая оплошность, не унялась, пока он совсем не забросил топор. Подошла страда. Раньше он мог хоть сбродить к соседям (с тем посмолит за компанию самосада, с другим раздавит маленькую — все дело) или соседи заглянут к нему. А теперь караул кричи — не докричишься. Глушь. Безлюдье. И кажется, один-единственный звук на всю деревню — это Матвей, отлежав бока, скрипит своей деревягой, ковыляя по закоулку. И каждый день одно и то же: грязный ребенок, ползающий в песке, да пес, обалдевший от жары. А по вечерам возвращалась с луга Марья и, присев на крыльцо, красная, разгоряченная, с налитыми молоком грудями, начинала жаловаться: — Ох, уж я передохну. Вся-то я устала, мужик. Когда и страда эта кончится? Он стискивал зубы, чтобы не раскричаться, не ударить жену. И в эти минуты он люто ненавидел ее. Как она не понимает, что именно этой устали, дела не хватает ему! Но страда — это еще ничего, терпеть можно. А вот когда пали первые утренники, он взвыл, как подраненный зверь. По

утрам на озимях, за деревней, трубили журавли, воздух стонал от утино­го крыла. А что творилось в лесу! Пальба с утра до ночи — стрелял и старый и малый. Ванька-шофер, сваливший двух глухарей, потерял голову: «Все! Последнюю осень баранку кручу». Заехал Сысоев — в черной скрипучей кожанке, перекрещенной ремнями, пухлая полевая сумка, бинокль и совершенно трезвый, — одним словом, по всей форме. Сысоев открывал охотничий сезон. Повздыхал, поразводил руками, косо по­с­мат­ри­вая на Матвееву деревягу, и укатил ключить договора в верховье Пинегы. И еще был удар: однажды утром исчез Идол. День-два не было пса, а на третий день пришел искусанный, отошавший, снова похожий на собаку. Пришел, по­гля­дел на своего хозяина, понюхал деревяшку и отвернулся... Матвей запил. Марья, опять беременная, проклинала свою судьбу, и Матвей, опухший, с налитыми кровью глазами, подпрыгивая на деревянной ноге, коршуном налетел на нее — вот гдегодились мослаковатые, стянутые розовыми рубцами культы! В двадцатых числах сентября у Лысцевых на одной неделе зверь задрал корову и овцу. Черт с ними! Пропади все пропадом. Ежели он, Матвей, поды­хает заживо, то что такое корова и овца! По деревне — всех удивило, как это зверь и в тот и в другой раз выбрал из всего стада Матвееву скотину, — пошли разговоры: «Лесовик это на Матюгу рассердился. Припомнил, сколько он кровушки на своем веку пролил». Потом газу подбавила набожная старуха Феоктистовна, которая клятвенно уверяла всех: «Видела. Своими глазоньками видела. И страхи чистые! О трех ногах. Как есть оборотень». Матвею хотелось кричать: «Врешь, старая рухлядь! Никакой не оборотень. Волк — по повадке вижу. И ничего тут особенного нет. Просто попалась зверю моя корова, а второй раз — моя овца. Погодите! Дойдет очередь и до вас». Очередь снова пала на него. Как-то вышел он рано утром до ветру и вдруг видит: у крыльца с распоротым брюхом лежит Идол. Суеверный страх напал на Матвея. Что, если и в самом деле зверье мстит ему? У кого еще такое бывало? Два дня не пил, не ел. Сидел истуканом. Глаза в землю. Черная ошестиненная голова, как солью,

осыпана сединой... Марья телеграммой вызвала дочь и сына: с отцом худо. Те приехали на последнем пароходе, на всякий случай прихватив валенки: может, обратно придется возвращаться пешком. И тут их ожидала новая беда: отца нет. Отец пропал.

Охотничьи угодья — глухие урочища по суземным речкам, ягодные места вокруг лесных озер и болотин, богатые шишкой ельники — с незапамятных времен закрепились за отдельными семьями. Там, где промышлял отец промышляет сын. И упаси бог ступить на чужую тропу! Знахари нащлют нечистую силу — так закружит в лесу, что не выберешься, а то еще хуже — поймают провинившегося, посадят на муравейник. Последняя война поломала этот неписанный закон. Многие угодья остались без хозяев.. А кроме того, в военное лихолетье на Пинеге появились волки — они пришли из тундры вслед за стадами диких оленей. Матвей Лысцев едва ли не первый из охотников начал петлять по всему району. На триста, на четыреста километров делал заходы. И вся верхняя Пинега знала его, в каждой деревне у него друзья-приятели. К ним-то и махнул Матвей, воспользовавшись подвернувшейся подводой. А что было еще делать? Пропадать — так уж пропадать с треском! И задымилась хмельным угаром Матвеева жизнь. Сегодня с одним, завтра с другим. Охотничьи разговоры, воспоминания — есть чем дышать. Но вот что скоро стали замечать люди: едва только заявится в деревню Матвей, как вокруг начинает лютовать зверье. Тут зарежет жеребенка, там залезет в овечий хлев, там прикончит собаку... Опять поползли слухи о каком-то трехногом страшилище-волке, причем добро бы звонили бабы. Некоторые мужики поддакивали им. А в Заозерье нашлись олухи, которые будто бы даже стреляли в него. Матвей выходил из себя. Трусы! Сволочи! Распустили кругом волков и выдумывают черт те что. Ну-ко, кто убил хоть одного серяка за последний год? Однажды вечером он допоздна засиделся в чайной. Трещала с похмелья голова. В карманах хоть шаром покати — медяк не звякнет. Зотька Постников не приходил. Заведующая чайной, молоденькая девчонка, ретиво исполняющая свои

обязанности, уже раза три дотрагивалась пустой стопкой до графина: пора, мол, и совесть знать, торговая точка работает по плану. Но Матвей делал вид, что не слышит этих коммерческих призывов, и продолжал сидеть за столом в темном углу. Вошли два древних старика, Фотей и Мина. Матвей с надеждой посмотрел на них. Может, от них перепадет какая капля! Было время — кто в Заозерье не пил за его счет!.. Нет, старые хрычи начали отогреваться чаем. Слово за слово — и у них разговор про волков. — Надо быть, к войне, — глубокомысленно прошамкал плешивый Фотей. — Мы с татей-покойничком, бывало, месяц на Усть-Юрове живем. И скажи, маета одна. Ходим, ходим, а нет зверя. А зверь-то это весь к домам выполз. На ерманскую войну. — Матюги Лысцева не стало — вот что, — возразил Мина. — Ну, это так, — согласился Фотей. — Был бы Матюшка — он бы, зверь-то, чувствовал... Так, похоронили, значит. Был Матюга и нет Матюги. А то, что он тут, в двух шагах от них... это не он. Это так, видимость одна. Ветошка. Черт побери, а что же такое он? Матвей хмуро посмотрел на свои обрубки. Неужели он, Матвей, это только руки? Те восемь пальцев, которые отхватили ему в больнице? Да, все остальное — голова, глаза, сердце — все это чепуха. Так, придача к пальцам... Вот оно как обернулось. Были руки-ноги целы — человек. А теперь каждый сопляк свысока на него смотрит. А женка своя? Черт бы побрал ее со своими жалостями да заботами! Он с силой стукнул культами по столу и встал. Ночь была морозная, месячная. Только что выпавший снег — сразу на четверть — по-зимнему заскрипел под сапогами. Куда идти? К прохвосту Зотьке — дом его тут, рядом? Или к Никону Мерзлomu? Никон — мужик непьющий и, хоть сдохни, вина не даст. Но и Зотькину рожу видеть сейчас... Матвей пошел к Никону. Деревяга месила мягкий снег, вязла, скользила по льду на взъемах. Он шел ночной деревней и клял все на свете. Клял подлеца Зотьку, который так бессовестно надул его, клял местные власти, которые ничего лучше не могли придумать, как открыть чайную на краю деревни, и заодно клял Никона — надо же дураку забраться на самое болото! Наконец он доплелся до ручьевины. У Мерзлых

еще не спали — в боковой избе мигал огонек. Спустившись в ручей, Матвей уже начал было сворачивать с большой дороги на тропинку, ведущую к дому Никона, как вдруг ему почудился какой-то шорох сзади. Он оглянулся. Шагах в десяти от него стоял волк, громадный, с поднятой кверху мордой... Только на секунду, даже меньше, задержался его взгляд на звере, но он сразу узнал его. Тот самый... Матвей закричал что есть силы, бросился с палкой на волка. Окольцованная деревяга со звоном скользнула по наледи... А когда он поднялся, вокруг было пусто... Холодный пот прошиб его. Что за чертовщина! Привиделось ему! Неужто хмелевик начался? Он прохромыкал на дорогу. Следы, волчьи следы... Широкие петли, залитые синевой, резко выделялись на белой, еще не еженной дороге. Они уходили туда, к старой, брошенной конюшне, которая громоздко чернела в полях у леса. На усадьбе Никона с отчаянным воплем металась собака. Сам хозяин раза два кричал с крыльца: «Эй, кто там? Проходи. Чего торчишь?» Матвей не двигался. Он стоял как обугленный пень на светлой дороге и не сводил суженных глаз с конюшни. Да, бабы не врали. Волк ходит. Тот самый волк... Но чего он хочет от него, проклятый? Волчья месть? Но разве мало того, что он сожрал у него корову, овцу, пса? Хочет с ним самим разделаться? Так какого лешего медлит? Вот он тут, безоружный калека, рядом с ним был... И вдруг Матвей понял: он или волк. Жить так дальше нельзя. 5 На другой день утром, незадолго до рассвета, Никон Мерзлый подогнал к своему дому косматую, заиндедевшую кобыленку, запряженную в розвальни. У крыльца его уже поджидал Матвей — в полушубке, в ушанке из мохнатой собачины, на здоровой ноге валенок. Поскрипывая деревягой, он залез в розвальни, лег. Никон положил рядом с ним двустволку, тулуп, берестяную коробку с едой, затем принес связанного по ногам барана, теплого, пахнущего овечьим хлебом, и тоже положил в розвальни. Потом он прикрыл Матвея и барана соломой и выехал со двора. Старая конюшня, как все конюшни первых колхозных лет, размещалась в гумне. Лошадей много — безлошадники в северной деревне были наперечет, — где же и сгуртовать их, как не в

гумнах? Теперь от былой конюшни остались стены да несколько тесниц сверху. Все остальное: стойла, настил, двое дощатых ворот — одни на дорогу, другие на поле — давно уже растащили на дрова или приспособили для других надобностей. Пробовали сокрушать и стены — то тут, то там вгрызлся в бревна топор, но, видимо, налетчики, действуя по собственной инициативе, опасались поднимать большой шум, а у колхозных властей тоже руки не дошли прибрать гумно. Стоя в конюшне чуть ли не по колено в снегу, Матвей минут пять молча и сосредоточенно оглядывал стены, вдоль которых, колеблемые предрассветным ветерком, тихо и сонно шуршали черные булдыря чертополоха, смотрел в белесый проем боковых ворот, к которым вплотную подступал запорошенный снегом мелкий кустарник, буйно разросшийся на здешних полях за послевоенные годы. За кустарником темной стеной вырастало чернолесье — и там где-то сейчас отлеживался зверь... Матвей обернулся к стоящему сзади Никону, кивнул на старые подсанки, приставленные к придорожной стене:

— Поставь сюда. Никон поставил подсанки так, как велел Матвей, — вдоль стены, напротив ворот в поле. К среднему вязу подсанок прикрепил веревкой ружье так, чтобы, повернув его, под обстрелом оказались и те ворота, которые выходят на дорогу, и те, что обращены к чернолесью.

— Н-да, — покачал головой Никон, — охота...

— Давай животину. Барана привязали на веревку в углу за подсанками, — снег разгребли, настлали соломы. Бедный баран с перепугу заметался, заблеял, но,, получив сено, успокоился. «Кажется, все как надо, — подумал Матвей. — Въехали в конюшню незаметно. А ежели зверь и следил откуда из кустов — обыкновенная подвода с соломой». Глухо стукнув деревянной ногой, он лег на солому к прикладу ружья. Светало. На бледной замяти снега, присыпанной махорчатыми семенами чертополоха, отчетливо выступила голубая цепочка горностаевых следов. Заснеженные ветки кустарника торчат, как оленье рога, и каясется, там, за воротами, сгрудилось оробелое стадо и чутко и настороженно прислушивается к предрассветной тишине.



Никон сказал полушепотом, зябко прикрывая рукой рот: — Барана смотри не заморозь. А то моя баба... Знаешь... Ни звука в ответ. Хрустит сено на зубах у барана, да на дороге позвякивает удилами кобыла. Никон с какой-то непонятной робостью поднял голову к зимнему небу, перекрытому мохнатыми, в белой кухне тесницами, посмотрел еще раз на Матвея, неподвижно лежащего у ружья, нацеленного в холодную хмарь чернолесья, и пошел к лошади. 6 Никон Мерзлый жил как медведь: в будни колхозная работа с утра до вечера, в редкие праздники лежка на своем болоте: либо в избе, либо на сеновале — смотря по погоде. И никаких мужичьих развлечений: ни выпивки, ни курева. А все потому, уверяли люди, что жену его звали Улей-ягодкой. Маленькая, худущая, вечно жалующаяся на болезни, она как оса кружилась вокруг своего мужа-великана: и то не так и это не так. Мужики советовали:

— Задай ты ей хоть раз сабантуй — небось сразу придет в чувство. — А-а, ладно, — отмахивался Никон.

— И без того шуму на земле хватает. И самое большое, на что отваживался он, когда уж совсем невтерпеж становился зуд жены, это ронял два-три слова:

— А-а, отстань, ржавчина... В тот самый час, когда Никон выезжал с Матвеем со двора, Ульяна доила корову. Барана она хватилась днем. — Никон, Никон! — ворвалась она с криком в избу. — Барана волк унес. Никон по случаю воскресенья законно лежал на кровати: босые разлапистые ноги на спинке (мала была старая отцовская кровать для его саженого тела), руки за курчавой головой, а маленькие зеленые глазки в младенческой опуши светлых ресниц нацелены на сук в потолке — верный признак того, что Никон думает. — Чего лежишь, боров? Кому говорю? — взбеленилась Ульяна. — Барана, говорю, волк унес. Никон нехотя сел на кровати, почесал за воротом. — Ты того... может, в углу где недосмотрела... — Что ты, лешак глупый! Хлев-то не лес, баран не иголка. Я уж знала, не к добру пришел вчера тот пьяница... В конце концов Никон признался, где баран. Ульяна,

наверно, с минуту, а то и больше таращила на него острые округлившиеся глаза, а потом ее прорвало, как худую плотину:

— Дурак! Безмозглая образина! Да где это слыхано, чтобы на волка с бараном ходили! Да тот босяк выманил его, чтобы пропить со своими пьянчугами! Никон сидел перед женой как провинившийся школьник, не подымая головы. В том, что Матвей не надул его, он не сомневался. Но, с другой стороны, слова жены подняли в его душе сомнения... К вечеру даванул мороз. Никон сходил за дровами, затопил маленькую печку.

— Вот как, тепла захотелось! — съязвила Ульяна.

— А там-то как? Смотри, лешак, замерзнет тот пьяница — засудят тебя! Назавтра утром, придя с надворья, Ульяна стала готовить поило.

— Неси, — сказала она мужу.

— Баран-то ревом ревет — пить хочет.

— Эка ты, баба... — развел руками Никон.

— Да молчаливый-то баран зачем ему? Надо, чтобы зверь чуял. — Чуял, чуял! Согнал бы со всей деревни собак — еще бы лучше учуял. Никону нечего было сказать. И в самом деле, почему Матвею не взять было собаку вместо барана? Или на такую приманку, как овца, скорее зверь попадается? Ульяна взялась за шайку сама — разве сдвинешь с места этого дьявола? — но Никон вдруг с такой силой пнул шайку, что Ульяна вплоть до ужина — первый раз в жизни! — не раскрыла рта. В тот день Никон не пошел на работу. Лег на кровать — глаза в потолок — и не пошевелился до вечера. — Может, и жрать разучился? — спросила Ульяна за ужином. Никон встал, снова затопил печку и сел к огню. На печи заливалась сонным свистом Ульяна; собака, впущенная на ночь в избу, ворочалась, урчала, выщелкивая зубами блох. Когда погасли в печке угли, Никон накинул полушубок, вышел на улицу. Мороз все густел. Звездное небо волчьими глазами сторожило зачехневшую землю. Никон прошел по тропинке на дорогу и долго смотрел на черные — в мглистом сиянии — развалины конюшни. Что там сейчас делается? Жив ли Матвей? Может, замерз уже? Весь день его неотступно

преследовали эти мысли. Ему хотелось броситься в конюшню, разом оборвать эту несуразную затею — ведь нельзя же погибать человеку из-за какого-то волка! Но он хорошо запомнил слова Матвея: «Не приходи, пока не услышишь выстрелов». И еще он запомнил его глаза в ту самую ночь — глаза человека, приговорившего себя к смерти... Томясь от неизвестности, от сознания собственного бессилия, Никон медленно бродил вокруг своего дома, то и дело поглядывая в сторону конюшни. Под утро он замерз, зашел обогреться в избу. Выстрелы один за другим прозвучали на рассвете. Но их не слышали ни сам Никон, спавший сидя на скамейке у печи, ни сладко похрапывающая на печи Ульяна. Только пес вскочил на ноги и громко-громко залаял на всю избу. Утром к дому Никона Мерзлого сбежалась чуть ли не вся деревня: ребятишки, мужики, женки, старики. Волк лежал посреди заулка на плотно умятом снегу. Он был страшен и сейчас, этот серый разбойник. Клыкастая морда оскалена, седая шерсть торчком стояла на короткой толстой шее. И слухи о хромоногом страшилище тоже имели под собой почву: одна передняя лапа была без подушки. Но волк был мертв, и его сейчас никто не боялся. Мальчишки, ухватившись за толстый негнувшийся хвост, переворачивали его с боку на бок, тянули за ноги, тыкали пальцами в оскаленную пасть, при этом визгливо вскрикивая и пятясь от страха назад. Но особенно лютовали женки. Они пинали волка ногами, плевали в него, били палками.

— У-у, душегуб проклятый! Задрал у меня овцу...

— А где моя телушечка? Где?

— А у нас-то, у нас в позапрошлом году...

— Давай, давай! — подзадоривали женок мужики.

— Забыли еще: до войны корова была задрана. И мертвому волку снова и снова предъявляли счет. Все припомнили: и те злодеяния, которые совершил он, и те жертвы, в которых были повинны его родичи. Потом, досыта натешившись мертвым зверем, толпа вдруг вспомнила о Матвее.

Матвей тяжелым, мертвым сном спал на печи, укрытый шубами. Но все же голоса, загудевшие под порогом, разбудили его.

— Проснулся?

— Ну, Матюша, крепко ты его подкосил! Эдакий дьявол

— страсть! — Как ты и додумался-то? Герой, герой!

— Талан. От бога, — философски заключил Фотей.

— Мы на днях с Миной сидим в чайной. Вся надежда, говорим, на Матвея...

— Ульяна, что ты ему подушки-то хорошей под голову не дашь? От кровати по рукам пошла красная в сером пуху подушечка, за ней другая. Матвей, угрюмо прищутив темный глаз, сверху вниз смотрел на разношерстный вал, запрудивший избу. Радостные, сияющие лица, улыбки... Что за народ? Еще вчера все воротили от него нос, шарахались, как от чумы. Переночевать не выпросишься... А сегодня... Что переменялось? Ну, убил он волка... Да разве мало он убивал их раньше? А если бы не убил? Станные, самому еще не вполне понятные мысли ворочались у него в мозгу. И он сейчас вдруг каким-то новым, обостренным взглядом, взглядом человека, пережившего те две страшные ночи, присматривался к этим, казалось бы, знакомым и в то же время незнакомым лицам. Из-за порога, расталкивая людей, к печи пробрался Зотька Постников, улыбающийся, с красными, разогретыми морозом щеками. Вдруг он выхватил из-за пазухи бутылку и высоко помахал ею над головами людей.

— Эй, хозяйева! Посудину!

— Надо, надо, — раздались одобрительные голоса.

— Угости Матвея. Заслужил. Радужно сверкая, забулькала водка. Зотька, улыбаясь, подмигивая, протянул полный, с краями налитый стакан.

— Уйди, червяк! — вдруг резко, опаленный ненавистью, сказал Матвей и перевернулся на другой бок. Зотька остолбенело разинул рот, посмотрел с недоумением на примолкшую толпу и, безнадежно махнув рукой, сказал: — Э-эх! Пропал человек...

